

Предисловие

Ныне хорошо известны книги Василия Васильевича Розанова, среди них «Уединенное», «Опавшие листья» (короб первый и второй), составившие его необычайную трилогию. В 1994 году впервые издано «Мимолетное. 1915 год», печатались фрагменты из «Мимолетного 1914 год», из «Сахарны» (1913). Но вот о книге Розанова «Последние листья. 1916 год» в розановедении не было слышно. Считалось, что записи не сохранились. Но история вновь подтвердила, что «рукописи не горят».

Розанов — создатель особого художественного жанра, сказавшегося на многих книгах писателей XX века. Его записи в «Уединенном», «Мимолетном» или «Последних листьях» — это не «мысли» Паскаля, не «максимы» Ларошфуко, не «опыты» Монтеня, а интимные высказывания, «сказ души» писателя, обращенный не к «читателю», а в абстрактное «никуда».

«На самом деле человеку и до всего есть дело, и — ни до чего нет дела, — писал Розанов в одном из писем Э.Голлербаху. — В сущности он занят только собою, но так особенно, что занимаясь лишь собою, — и занят вместе целым миром. Я это хорошо помню, и с детства, что мне ни до чего не была дела. И как-то это таинственно и вполне сливалось с тем, что до всего есть дело. Вот поэтому-то особенному слиянию эгоизма и безэгоизма — „Опавшие листья“ и особенно удачны». Розановский жанр «уединенного» — это отчаянная попытка выйти из-за «ужасной занавески», которой литература отгорожена от человека и из-за которой он не то чтобы не хотел, но не мог выйти. Писатель стремился выразить «безъязыковость» простых людей, «затененное существование» человека.

«Собственно, мы хорошо знаем — единственно себя. О всем прочем — догадываемся, спрашиваем. Но если единственная „открывшаяся действительность“ есть „я“, то, очевидно, и рассказывай об этом „я“ (если сумеешь и сможешь). Очень просто произошло „Уединенное“».

Смысл своих записей Розанов видел в попытке сказать то, чего до него никто не говорил, потому что не считал это стоящим внимания. «Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки бытия», — писал он и пояснял: «У меня есть какой-то фетишизм мелочей. „Мелочи“ суть мои „боги“. Я вечно с ними играюсь в день. А когда их нет: пустыня. И я ее боюсь».

Определяя роль «мелочей», «движений души», Розанов считал, что его записи доступны и «для мелкой жизни, мелкой души», и для «крупного», благодаря достигнутому «пределу вечности». При этом выдумки не разрушают истины, факта: «всякая греза, пожелание, паутинка мысли войдет».

Розанов попытался ухватить внезапно срывающиеся с души восклицания, вздохи, обрывки мыслей и чувств. Суждения бывали нетрадиционные, ошарашивающие читателя своей резкостью, но Василий Васильевич и не пытался их «пригладить». «Собственно, они текут в вас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, — и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листья собрать».

Эти «нечаянные восклицания», отражающие «жизнь души», записывались на первых попавшихся листочках и складывались, складывались. Главное был «успеть ухватить», пока не улетело. И подходил к этой работе Розанов очень бережно: проставлял даты, размечал порядок записей внутри одного дня.

Предлагаем читателю отдельные записи из книги «Последние листья. 1916 год» которая полностью будет опубликована в выходящем в издательстве «Республика» Собрании сочинений В.В.Розанова в 12 томах.

При публикации сохранены лексические и шрифтовые особенности текста автора.

Публикация и комментарии А.Н. Николюкина.

Корректировал С.Ю. Ясинский

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru: <http://royallib.ru>

Оставить отзыв о книге: http://royallib.ru/comment/rozanov_vasiliy/poslednie_listya.html

Все книги автора: http://royallib.ru/author/rozanov_vasiliy.html

Василий Розанов

ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТЬЯ

3. I.1916

Неумная, пошлая, фанфаронная комедия.

Не очень «удавшаяся себе».

Её «удача» произошла от множества очень удачных выражений. От остроумных сопоставлений. И вообще от множества остроумных подробностей.

Но, поистине, лучше бы их всех не было. Они закрыли собою недостаток «целого», души. Ведь в «Горе от ума» нет никакой души и даже нет мысли. По существу это глупая комедия, написанная без темы «другом Булгарина» (очень характерно)...

Но она вертялка, играва, блестит каким-то от французов» серебром («Альцест и Чацкий» А.Веселовского), и понравилась невежественным русским тех дней и последующих дней.

Через «удачу» она оплоскодонила русских. Милые и глубокомысленные русские стали на 75 лет какими-то балаболками. «Что не удалось Булгарину — удалось мне», — мог бы сказать плоскоголовый Грибоедов.

Милые русские: кто не ел вашу душу. Кто не съедал ее. Винить ли вас, что такие глупые сейчас.

Самое лицо его — лицо какого-то корректного чиновника Мин. иностр. дел — в высшей степени противно. И я не понимаю, за что его так любила его Нина.

«Ну, это особое дело, розановское». Разве так.

10. I.1916

Темный и злой человек, но с ярким до непереносимости лицом, притом совершенно нового в литературе стиля. (resume о Некрасове)

В литературу он именно «пришел», был «пришелец» в ней, как и в Петербург «пришел», с палкою и узелком, где было завязано его имущество. «Пришел» добывать, устроиться, разбогатеть и быть сильным.

Он, собственно, не знал, как это «выйдет», и ему было совершенно все равно, как «выйдет». Книжка его «Мечты и звуки», — сборник жалких и льстивых стихов к лицам и событиям, показывает, до чего он мало думал быть литератором, принаровляясь «туда и сюда», «туда и сюда». Он мог быть и слугою, рабом или раболепным царедворцем — если бы «вышло», если бы продолжалась линия и традиция людей «в случае».

На куртаге случилось оступиться, —

Изволили смеяться...

Упал он больно, встал здорово.

Был высочайшею пожалован улыбкой.

Все это могло бы случиться, если бы Некрасов «пришел» в Петербург лет на 70 ранее. Но уже недаром он назывался не Державиным, а Некрасовым. Есть что-то такое в фамилии. Магия имен...

Внутренних препон «на куртаге оступиться» в нем не было никаких: и в Екатерининскую эпоху, в Елизаветинскую эпоху, а лучше всего — в эпоху Анны и Бирона он, в качестве 11-го прихлебателя у «временщика», мог бы на иных путях и иными способами сделать ту «счастливую фортуна», какую лет 70 «после» ему приходилось сделать, и он сделал естественно уже совершенно другими способами.

Как Бертольд Шварц — черный монах — делая алхимические опыты, «открыл порох», смешав уголь, селитру и серу, так, марая разный макулатурный вздор Некрасов написал одно стихотворение «в его насмешливом тоне», — в том знаменитом впоследствии «некрасовском стихосложении», в каком написаны первые и лучшие стихи его, и показал Белинскому, с которым был знаком и обдумывал разные литературные предприятия, отчасти «толкая вперед» приятеля, отчасти думая им «воспользоваться как-нибудь». Жадный до слова, чуткий к слову, воспитанный на Пушкине и Гофмане, на Купере и Вальтер-Скотте словесник удивленно воскликнул:

— Какой талант. И какой топор ваш талант.

Это восклицание Белинского, сказанное в убогой квартирке в Петербурге, было историческим фактом — решительно начавшим новую эру в истории русской литературы.

Некрасов сообразил. Золото, если оно лежит в шкатулке, еще драгоценнее, чем если оно нашито на придворной ливрее. И главное, в шкатулке может лежать его гораздо больше, чем на ливрее. Времена — иные. Не двор, а улица. И улица мне даст больше, чем двор. А главное или, по крайней мере, очень важное — что все это гораздо легче, расчет тут вернее, вырасту я «пышнее» и «сам». На куртаге «оступиться» — старье. Время — перелом, время — брожения. Время, когда одно уходит, другое — приходит. Время не Фамусовых и Державиных, а Figaro-ci, Figaro-la' (Фигаро здесь, Фигаро там (фр.)).

Моментально он «перестроил рояль», вложив в него совершенно новую «клавиатуру». «Топор — это хорошо. Именно топор. Отчего же? Он может быть лирой. Время аркадских пастушков прошло».

Прошло время Пушкина, Державина, Жуковского. О Батюшкове, Веневитинове, Козлове, кн. Одоевском, Подолинском — он едва ли слышал. Но и Пушкина, с которым со временем он начал «тягаться», как властитель дум целой эпохи, — он едва ли читал когда-нибудь с каким-нибудь волнением и знал лишь настолько, чтобы написать параллель ему, вроде:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан.

Но суть в том, что он был совершенно нов и совершенно «пришелец». Пришелец в «литературу» еще более, чем пришелец «в Петербург». Как ему были совершенно чужды «дворцы» князей и вельмож, он в них не входил и ничего там не знал, так он был чужд и почти не читал русской литературы; и не продолжил в ней никакой традиции. Все эти «Светланы», баллады, «Леноры», «Песнь во стане русских воинов» были чужды ему, вышедшему из разоренной, глубоко расстроенной и никогда не благоустроенной родительской семьи и бедной дворянской вотчины. Сзади — ничего. Но и впереди — ничего. Кто он? Семьянин? Звено дворянского рода (мать — полька)?

Обыватель? Чиновник или вообще служитель государства? Купец? Живописец? Промышленник? Некрасов-то? Ха-ха-ха...

Да, «промышленник» на особый лад, «на все руки» и во «всех направлениях». Но все-таки слово «промышленник» в своей жесткой филологии — идет сюда.

«Промышленник», у которого вместо топора — перо. Перо как топор (Белинский). Ну, он этим и будет «промышлять». Есть промышленность, с «патентами» от правительства и есть «промыслы», уже без патентов. И есть промыслы великороссийские, а есть промыслы еще и сибирские, на черно-бурую лисицу; на горностаю, ну — и на заблудившегося человека.

(прервал, вздумав переделать на фельетон.

См. фельетон)

16. I.1916

Я не хотел бы читателя, который меня «уважает». И который думал бы, что я талант (да я и не талант). Нет. Нет. Нет. Не этого, другого.

Я хочу любви.

Пусть он не соглашается ни с одной моей мыслью («все равно»). Думает, что я постоянно ошибаюсь. Что я враль (даже). Но он для меня не существует вовсе, если он меня безумно не любит.

Не думает только о Розанове. В каждом шаге своем. В каждый час свой.

Не советуется мысленно со мной: «Я поступлю так, как поступил бы Розанов». «Я поступлю так, что Розанов, взглянув бы, сказал — да».

Как это возможно?

Я для этого и отрекся с самого же начала от «всякого образа мыслей», чтобы это было возможно! (т. е. я оставляю читателю всевозможные образы мыслей). Меня — нет. В сущности. Я только — веяние. К вечной нежности, ласке, снисходительности, прощению. К любви.

Друг мой, ты разве не замечаешь, что я только тень около тебя и никакой «сущности» в Розанове нет? В этом сущность — Providentia (Провидения (лат.)). Так устроил Бог. Чтобы крылья мои двигались и давали воздух в ваших крыльях, а лица моего не видно.

И вы все летите, друзья, ко всяким своим целям, и поистине я не отрицаю ни монархии, ни республики, ни семьи, ни монашества, — не отрицаю, но и не утверждаю. ибо вы никогда не должны быть связаны.

Ученики мои — не связаны.

Но чуть грубость — не я.

Чуть свирепость, жесткость — тут нет меня.

Розанов плачет, Розанов скорбит.

«Где ж мои ученики?»

И вот они собрались все: в которых только любовь.

И это уже «мои».

Потому-то я и говорю, что мне не нужно «ума», «гения», «Значительности»; а чтобы люди «завертывались в Розанова», как станут поутру, и играя, шумя, трудясь, в день 1/10 минутки всего вспомнили: «этого всего от нас хотел Розанов».

И как я отрекся «от всего образа мыслей», чтобы ради всегда быть с людьми и ни о чем с ними никогда не спорить, ничем не возражать им, не огорчать их — так «те, которые мои» — пусть дадут мне одну любовь свою, но полную: т. е. мысленно всегда будут со мною и около меня.

Вот и все.

Как хорошо.

Да?

16. I.1916

Вася Баудер (II–III кл. гимназии, Симбирск) приходил обыкновенно ко мне по воскресеньям часов в 11 утра. Он носил гимназическое пальто, сшитое из серого (темно-серого), толстого, необыкновенной красоты сукна, которое стояло «колом» или как туго накрахмаленное, — и это являло такую красоту, что, надевая его только на плечи, — как-то слегка приседал от удовольствия носить такое пальто.

Он был из аристократического семейства и аристократ. Во-первых, — это пальто. Но и самое главное — у них были крашенные полы и отдельно гостиная, небольшая зала, отцов кабинет и спальня. Еще богаче их были только Руне — у них была аптека, и Лахтин. У мальчика Лахтина (Степа) была отдельная, холодная комната с белкой в колесе, а на Рождество приезжала красивая сестра и с нею подруга —

Юлия Ивановна.

С ними (барышнями) я не смел никогда разговаривать. И когда одна обратилась ко мне, я вспыхнул, заметался и нечего не сказал.

Но мы мечтали о барышнях. Понятно. И когда Вася Баудер приходил ко мне по воскресениям, то садились спиной друг к другу (чтобы не рассеиваться) за отдельные маленькие столики и писали стихотворение:

К НЕЙ

Никогда и решительно никакой другой темы не было. «Её» мы никакую не знали, потому что ни с одной барышнею не были знакомы. Он, полагаясь на свое великолепное пальто, еще позволял себе идти по тому тротуару, по которому гимназистки шли, высыпая из Мариинской гимназии (после уроков). У меня же пальто было мешком и отвратительное, из дешёвенького вялого сукна, которое «мякло» на фигуре. К тому же я был рыжий и красный (цвет лица). Посему он имел вид господства надо мною, в смысле что «понимает» и «знает», «как» и «что». Даже — возможность. Я же жил чистой иллюзией.

У меня был только друг Кропотов, подписывающийся под записками: Kropotini italo, и эти «издали» Руне и Лахтин.

Мы спорили. У меня было ухо, у него глаз. Он утверждал, насмешливо, что я пишу вовсе не стихи, потому что «без рифмы»; напротив — мне казалось, что скорее он, не я, пишет прозу, п.ч., хотя у него оканчивалось созвучиями: «коня», «меня», «друг», «вдруг», но самые строки были вовсе без звука, без этих темпов и периодичности, которые волновали мой слух, и впоследствии мы узнали, что это зовется стихосложением. Напр., у меня:

Ароматом утро дышит

Ветерок чуть-чуть колыхет...

Но если «дышит» и «колыхет» не выходило, то я ставил смело и другое слово, твердя, что это все-таки «стих», п.ч. есть «гармония» (чередующиеся ударения).

У него...

У него были просто строчки, некрасивые, по мне — дурацкие, «совершенная проза» но зато «созвучие» последних слов, этих концов строк, что мне казалось — ничто. Это были и не теперешние белые стихи: это была просто буквальная проза, без звона, без мелодии, без певучести, и только почему-то с «рифмами», на которых он помешался.

Так мы жили.

Я сохранил его письма. Именно, едва перейдя в IV класс, я был взят братом Колею в Нижний, должно быть, «быстро развился там» (Нижегородская гимназия была несравнима с Симбирской), «вознесся умом» и написал на «старую родину» (по учению) несколько высокомерных писем, на которые он отвечал мне так:

[сюда поместить непременно, непременно, непременно!!! — письма Баудера. См. Румянцевский музей] <позднейшая приписка>.

16. I.1916

«Я» есть «я», и это «я» никогда не станет — «ты».

И «ты» есть «ты», и это «ты» никогда не сделается как «я».

Чего же разговаривать. Ступайте вы «направо», я — «налево», или вы «налево», я «направо».

Все люди «не по дороге друг другу». И нечего притворяться.

Всякий идет к своей Судьбе.

Все люди — solo.

23. I.1916

Так обр. Гоголь вовсе и не был неправ?

(Первооснова русск. действительности), и не в нем дело. Если бы Гоголя благородно восприняло благородное общество: и начало трудиться, «восходить», цивилизовываться, то все было бы спасено. Но ведь произошло совсем не это, и нужно заметить, что в Гоголе было такое, чтобы именно «произошло не это». Он писал вовсе не с «горьким смехом» свою «великую поэму», Он писал ее не как трагедию, трагически, а как комедию, комически. Ему самому было «смешно» на своих Маниловых, Чичиковых и Собакевичей, — смех, «уморушка» чувствуется в каждой строке «М.Д.». Тут Гоголь не обманет, сколько ни хитри. Слезы появляются только в конце, когда Гоголь увидал сам, какую чудовищность он наворотил. «Finis Russorum» («Конец Руси» (лат.)).

И вот подло («комически») написанную вещь общество восприняло подло: и в этом заключается все дело. Чернышевские — Ноздревы и Добролюбовы — Собакевичи заготовили во всю глотку: — А, так вот она наша стерва. Бей же ее, бей, да убей.

Явилась эра убивания «верноподданными» своего отечества. До 1-го марта и «нас», до Цусимы.

23. I.1916

Действие «М.Д.» и было это: что подсмотренное кое-где Гоголем, действительно встретившееся ему, действительно мелькнувшее перед его глазом, ГЛАЗОМ, и в чем гениально, бессмысленно и по наитию, он угадал «суть суетей» моральной Сивухи России — через его живопись, образность, через великую схематичность его души — обобщилось и овселенскилось. Дробинки, частицы выросли во всю Русь. «Мертвые души» он не «нашел», а «принес». И вот они «60-ые годы», хохочущая «утробушка», вот мерзавцы Благовосветовы и Краевские, [14 - Андрей Александрович Краевский (1810–1389) — журналист, издатель «Отечественных записок». Розанов писал о нем: «Цензор только тогда начинает „понимать“, когда его Краевский с Некрасовым кормят обедом. Тогда у него начинается пищеварение, и он догадывается, что „Щедрина надо пропустить“» (Розанов В.В. Уединенное. М., 1990, с.208).] которые «поучили бы Чичикова». Вот совершенная копия Собакевича — гениальный в ругательствах Щедрин. Через гений Гоголя у нас именно появилось гениальное в мерзостях. Раньше мерзость была бесталанна и бессильна. К тому же, ее естественно пороли. Теперь она сама стала пороть («обличительная литература»). Теперь Чичиковы стали не только обирать, но они стали учителями общества.

— Все побежало за Краевским. К Краевскому.

У него был дом на Литейном. «Павел Иванович уже оперился».

И в трубу «Отеч. Записок» дал «Евангелие обществу».

26. I.1916

Вот ты прошел мимо дерева: смотри, оно уже не то.

Оно приняло от тебя тень кривизны, лукавства, страха. Оно «трясучись» будет расти, как ты растешь. Не вполне — но тенью:

И нельзя дохнуть на дерево и не изменить его.

Дохнуть в цветок — и не исказить его.

И пройти по полю — и не омертвить его.

На этом-то основаны «священные рощи» древности.

В которые никто не входил никогда.

Они были — для народа и страны как хранилища нравственного. Среди виновного — они были невинными. И среди грешного — святыми.

Неужели никто не входил?

В историческое время — никто. Но я думаю, в доисторическое время «Кариатид» и «Данаид»?

Эти-то, именно эти рощи были местом зачатий, и через это древнейшими на земле храмами.

Ибо храмы — конечно возникли из особого места для столь особого, как зачатия.

Это была первая трансцендентность, встретившаяся человеку (зачатие).

2. II.1916

Поговорили о Гоголе, обсуждали разные стороны его, и у него мелькнули две вещи:

— Всякая вещь существует постольку, поскольку ее кто-нибудь любит. И «вещи, которой совершенно никто не любит» — ее и «нет».

Поразительно, универсальный закон.

Только он сказал еще лучше: что «чья-нибудь любовь к вещи» вызывает к бытию самую «вещь»; что, так сказать, вещи рождаются из «любви», какой-то априорной и предмирной. Но это у него было с теплом и дыханием, не как схема.

Удивительно, целая космогония.

И в другом месте, погода:

У Гоголя вещи ничем не пахнут. Он не описал ни одного запаха цветка.

Даже нет имени запаха. Не считая Петрушки, от которого «воняет». Но это уже специально гоголевский жаргон и его манерка. Т. ч. это тоже не запах, а литературный запах.

Он такие говорит, что Гоголь отвратителен, неинтересен и невыносим. И что у него кроме выдумки и сочинения ничего нет.

(С Тиграновым Фаддеем Яковлевичем)

У него мать и прелестная жена, блондинка (кожа) и светлокудрая: бледный, бессильный цвет волос, с переливом в золото. Он сказал, что это древнейший корень Армении, что именно в старейших и захолустных местностях — сплошь рыженькие крестьянки. «Благодарю, не ожидал». Сам он черный жук, небольшого роста, — теоретик и философ.

5. II.1916

И на меня летят «опавшие листья» с моих читателей. Что им мое «я»? Никогда не виденный человек и с которым по дальности расстояния (городок Нальчик, на Кавказе) он никогда не увидится.

И сколько отрады они несут мне. За что? А я думал разве «за что», даря «кому-то», безвестному, с себя «опавшие листья»? Ибо я дал не публике, а «кому-то вон там».

Так взаимно.

И как рад я, чувствуя, как коснулся лица росток с чужого далекого дерева. И они дали мне жизнь, эти чужие листья. Чужие? Нет. Мои. Свои.

Они вошли в мою душу. Поистине, это зерна. В моей душе они не лежат, а растут.

На расстоянии 2-х недель вот 2 листа:

«18/II.1916. Томск.

„Как понятна мне грусть „Уединенного“, близка печаль по опавшим листьям... Их далеко разносит вьюга, кружа над мерзлую землей, навек отделил друг от друга, засыпав снежной пеленой“, — пела моя бедная Оля и умолкла в 23 года. Холодно ей жилось! — моя вина, моя боль до самой смерти. Однажды в темную осеннюю ночь пришла ко мне грусть как внезапное предчувствие грядущих несчастий — мне было 5 лет. С тех пор она часто навещала меня, пока не стала постоянным спутником моей жизни. Полюбила Розанова — он чувствует грустных, понимает тоскующих, разделяет нашу печаль. Как Вы метки в определении душевных состояний в зависимости от обстоятельств и возраста — мой метафизический возраст, полный воспоминаний и предчувствий, в счастье я язычица была. Не верить в будущую жизнь значит мало любить. Всю жизнь хоронила — отец, мать, муж, все дети умерли; тоска, отчаяние, боль и отупение владели душой — после смерти последней моей дочери Оли я не могу допустить мысли, что ее нет, не живет ее прекрасная душа. Если прекрасные и нравственные не умирают, не забываются в наших душах, то сами-то по себе неужели они перестают существовать для дальнейшего совершенствования? Какой смысл их жизни? Закрыть трубу, чтобы сохранить тепло, когда дрова сгорят сами, целесообразно, а если огонь еще пылает и от него людям тепло и светло — закройте трубу, получится угар и чад. Кто-то вносил огонь жизни в нас и не определил продолжительности его горения — есть ли право гасить его? Бывает иногда, что дрова сгорят, но остается головня, которая никак не может сгореть, тогда я не выбрасываю ее, но тотчас употребляю на растопку другой печи или заливаю и после тоже как матерьял для топлива употребляю — пусть на тепло идет; моя душа тоже обгорела в огне страданий, но еще не сгорела до конца — она темна и уныла, как эта головня — у нее нет ни красок, ни яркости, нет своей жизни — идет на подтопку, а Ваша — теплый, светлый огонь — нельзя трубу закрывать.

Спасибо же Вам, родной, хороший, за слезы, которыми я отвела душу, читая „Уединенное“ и „Опавшие листья“ — они для меня как дождь в пустыне. Ах, какая жизнь прожита мучительная и полная превратностей, на что она мне была дана, хотелось бы понять

А.Колимова»

Другое:

«1-е февраля.

Случайно натолкнулась на случайно неразрезанные страницы в первом коробе „Опавших листьев“. Обрадовалась, что есть неп прочитанное. О Тане. Как Таня прочла Вам стих-ие Пушкина „Когда для смертного умолкнет шумный день“, прочла во время прогулки у моря.

Как хороши эти Ваши страницы. Хорошо — все, все — сначала. Какая она у Вас чудесная — Танечка. Разволновалась я. Так понятно и хорошо все, что Вы рассказали. Потом прочла последние строки — Машины слова: „Не надо на рынок“. Правда. Только ведь не всякая душа — рынок. Василий Васильевич, дорогой мой, ведь 9/10 ничего, ничего, ну ничего не понимают! Знаете, как о Вас говорят? „Это тот Розанов, что против евреев?“ Или — „это тот, что в Новом Времени?“

Нужно громадное мужество, чтобы писать, как Вы, ведь это большая обнаженность, чем Достоевский».

«Родной мой и любимый Василий Васильевич, я получила Ваше письмо давно, оно дало мне громадную радость, сразу хотела писать Вам, да не пришлось, а потом Ириночка заболела, а сейчас, вот 2-ю неделю, Евгений болен, сама ухаживаю за ним. Замоталась совершенно.

Вчера ожидала людей, а Евгений говорит: „Спрячь Розанова“. Я поняла и убрала Ваши книги в комод. Не могу им дать. Не могу. Залапают. Обидят. Есть книги, которые никому дать не могу. У Вас есть слова о том, что книги не надо „давать читать“. Это совершенно совпало с нашим старым, больным вопросом о книгах. За это — нас бранят и обвиняют все кругом. Если книгу не убережешь — увидят — надо дать только — пускай уже лучше не возвращают совсем — ибо „потеряла она от чистоты своей“. Люди никак не могут понять, что дать книгу — это в 1000 раз больше, чем одеть свое платье.

Но мы иногда даем, даем с нежной мыслью отдать лучшее, последнее, и это никогда, никогда не бывает понято: ведь книга — „общее достояние“ (так говорят). Спасибо, дорогой и милый, за ласку, спасибо, что пожалели меня в Вашем письме, от Вас все принимаю с радостью и благодарностью. Как теперь Ваше здоровье?

Преданная и любящая Вас

Надя А.»

14. II.1916

Какое каннибальство... Ведь это критики, т. е. во всяком случае не средние образованные люди, а выдающиеся образованные люди.

Начиная с Гарриса, который в «Утре России» через 2–3 дня, как вышла книга («Уед.») — торопливо вылез: «Какой это Передонов; о, если бы не Передонов, ведь у него есть талант» и т. д., от «Уед.» и «Оп.л.» одно впечатление: «Голой Розанов», «У-у-у», «Цинизм, грязь».

Между тем, как ясно же для всякого, что в «Уед.» и «Оп.л.» больше лиризма, больше трогательного и любящего, чем не только у ваших прохвостов, Добролюбова и Чернышевского, но и чем во всей русской литературе за XIX в. (кроме Дост-го).

Почему же «Го-го-го» —? Отчего? Откуда?

Не я циник, а вы циники. И уже давним 60-летним цинизмом. Среди собак, на псарне, среди волков в лесу — запела птичка.

Лес завыл. «Го-го-го. Не по-нашему».

Каннибалы. Вы только каннибалы. И когда вы лезете с революцией, то очень понятно, чего хотите:

— Перекусить горлышко.

И не кричите, что вы хотите перекусить горло только богатым и знатным: вы хотите перекусить человеку.

П.ч. я-то, во всяком случае, уж не богат и не знатен. И Достоевский жил в нищете.

Нет, вы золоченая знатная чернь. У вас довольно сытные завтраки. Вы получаете и от Финляндии, и от Японии. Притворяетесь «бедным пиджачком» (Пешехонов). Вы предаете Россию. Ваша мысль — убить Россию, и на ее месте чтобы распространилась Франция, «с ее свободными учреждениями», где вам будет свободно мошенничать, п.ч. русский полицейский еще держит вас за фалды.

19. II.1916

О «Коробе 2-м» написано втрое больше, чем о 1-м. Сегодня из Хабаровска кто-то. Спасибо.

«Лукоморье» не выставило своей фирмы на издание. Что не «выставило» — об этом Ренников сказал: — «Какие они хамы». Гм. Гм... Не будем так прямо. Все-таки они сделали доброе дело: у меня в типографии было уже около 6000 долга; вдруг они предложили «издать за свой счет». Я с радостью. И что увековечился Кор. 2-й, столь мне интимно дорогой — бесконечная благодарность им.

Еще молодые люди. Марк Николаевич (фам. забыл). Показал «Семейный вопрос», весь с пометками. Я удивился и подумал — «Вот кому издавать меня». Но он молод: все заботился обложку. «Какую мы вам сделаем обложку». Я молчал. Какая же, кроме серой!!! Но они пустили виноградные листья.

Ну, Господь с ними. Мих. Ал. и Марк Николаевич — им вечная память за «Короб-2» Без них не увидел бы света.

19. II.1916

И вот начнется «течение Розанова» в литературе (знаю, что начнется).

И будут говорить: «Вы знаете: прочитав Р-ва, чувствуешь боль в груди...»

Господи: дай мне в то время вытащить ногу из «течения Розанова».

И остаться — одному.

Господи, я не хочу признания множества. Я безумно люблю это «множество»: но когда оно есть «оно», когда остается «собой» и в своем роде тоже «одно».

Пусть.

Но и пусть я — «я». О себе я хотел бы 5–7, и не более 100 во всей России «истинно помнящих»

Вот одна мне написала: «Когда молюсь — всегда и о вас молюсь и ваших».

Вот.

И ничего — еще.

20. II.1916

...дело в том, что «драгоценные металлы» так редки, а грубые — попадаются сплошь. Это и в металлургии, это и в истории.

Почему железа так много, почему золото так редко? Почему за алмазами надо ехать в Индию или Африку, а полевой шпат — везде. Везде — песок, глина. Есть гора железная — «Благодать». Можно ли представить золотую гору? Есть только в сказках.

Почему в сказках, а не в действительности? Не все ли равно Богу сотворить, природе — создать? Кто «все мог», мог бы и «это». Но — нет. Почему — нет? Явно не отвечает какому-то плану мироздания, какой-то мысли в нем.

Так и в истории. Читается ли Грановский? Все предпочитают Кареева, Шлоссера, а в смысле «философии истории» — Чернышевского. Никитенко был довольно проницательный человек и выразил личное впечатление от Миртова («Исторические письма»), что это — Ноздрев. Ноздрев? Но он при Чичикове был бит (или бил — черт их знает), а в эпоху Соловьева и Кавелина, Пыпина и Дружинина был возведен в степень «преследуемого правительством гения».

Что же это такое?

Да, железа много, а золота мало. И только. Природа.

Что же я все печалюсь? Отчего у меня такое горе на душе, с университета. «Раз Страхова не читают — мир глуп». И я не нахожу себе места.

Но ведь не читают и Жуковского. Карамзина вовсе никто не читает. Грановский не читаем: Киреевский, кн. [В].Ф.Одоевский — многие ли их купили? Их печатают благотворители, но напечатанных их все равно никто не читает.

Почему я воображаю, что мир должен быть остроумен, талантлив? Мир должен «плодиться и множиться», а это к остроумию не относится.

В гимназии я раздражался на неизмеримую глупость некоторых учеников и тогда (в VI–VII кл.) говорил им: — «Да вам надо жениться, зачем вы поступили в гимназию?». Великий инстинкт подсказывал мне истину. Из человечества громадное большинство из 10000 9999 имеют задачу — «дать от себя детей», и только 1 — дать сверх сего «кое-что».

Только «кое-что»: видного чиновника, оратора. Поэт, я думаю, приходится уже 1 на 100000; Пушкин — 1 на миллиард «русского народонаселения».

Вообще золота очень мало, оно очень редко. История идет «краешком», «возле болотца». Она, собственно, не «идет», а тащится. «Вон-вон ползет туман, а-громадный». Этот «туман», это «вообще» и есть история.

Мы все ищем в ней игры, блеска, остроумия. Почему ищем? История должна «быть» и даже не обязана, собственно, «идти». Нужно, чтобы все «продолжалось» и даже не продолжалось: а чтобы можно было всегда сказать о человечестве: «а оно все-таки есть».

«Есть». И Бог сказал: «Плодитесь и размножьтесь», не прибавив ничего о прогрессе. Я сам — не прогрессист: так почему же я так печалюсь, что все просто «есть» и никуда не ползет. История изнутри себя кричит: «не хочу двигаться», и вот почему читают Кареева и Когана. Господи: мне же в утешение, а я так волнуюсь. Почему волнуюсь?

29. II 1916

Он ведь соловушка — и будет петь свою песню из всякой клетки, в которую его посадят.

Построит ли ему клетку Метерлинк и назовет его «Синей Птицей».

Новый Т.Ардов закатиет глаза — запоет: «О, ты синяя птица, чудное видение, которое создал нам брюссельский поэт. Кого не манили в юности голубые небеса и далекая незакатная звездочка...»

Или построит им клетку Л.Толстой и назовет ее «Зеленой палочкой»

И скажет Наживин:

«Зеленая палочка, волшебный сон детства! Помните ли вы свое детство? О, вы не помните его. Мы тогда лежали у груди своей Матери-природы и не кусали её.

Это мы, теперь взрослые, кусаем ее. Но опомнитесь. Будем братья. Будем взирать на носы друг друга, закопаем ружья и всякий милитаризм в землю. И будем, коллективно собираясь, вспоминать зеленую палочку».

Русскому поэту с чего бы начать, а уж продолжать он будет.

И это банкиры знают. И скупают. Говоря: «Они продолжать будут. А для начала мы им покажем Синюю птицу и бросим Зеленую палочку».

(XL-летний юбилей «Н.Вр.»)

9. III. 1916

Я всю жизнь прожил с людьми мне глубоко ненужными. А интересовался — издали.

(за копией с письма Чехова)

Прожил я на монастырских задворках. Смотрел, как звонят в колокола. Не то, чтобы интересовался, а все-таки звонят.

Ковырял в носу.

И смотрел вдаль.

Что вышло бы из дружбы с Чеховым? Он ясно (в письме) звал меня, подзывал. На письмо, очень милое, я не ответил. Даже свинство. Почему?

Рок.

Я чувствовал, что он значителен. И не любил сближаться с значительными.

(читал в то время только «Дуэль» его, которая дала на меня отвратительное впечатление; впечатление фанфарона («фон-Корен» резонер пошлейший, до «удавиться» [от него]) и умственного хвастуна. Потом эта баба, купающаяся перед проезжавшими на лодке мужчинами, легла на спину: отвратительно, Его дивных вещей, как «Бабы», «Душечка», я не читал и не подозревал).

Так я не виделся и с К.Леонтьевым (звал в Оптину), и с Толстым, к которому поехать со Страховым было так естественно и просто, — виделся одни сутки.

За жар (необыкновенный) его речи я почти полюбил его. И мог бы влюбиться (или возненавидеть).

Возненавидел бы, если б увидел хитрость, деланность, (возможно). Или — необъятное самолюбие (возможно).

Ведь лучший мой друг (друг — покровитель) Страхов был внутренне неинтересен. Он был прекрасен; но это — другое, чем величие.

Величия я за всю жизнь ни разу не видал. Странно.

Шперк был мальчишка (мальчишка — гений). Рцы — весь кривой. Тигранов — любящий муж своей прелестной жены (белокурая армянка. Редкость и диво).

Странно. Странно. Странно. И м.б. страшно.

Почему? Смиримся на том, что это рок.

Задворочки. Закоулочки. Моя — пассия.

Любил ли я это? Так себе. Но вот вывод: не видя большого интереса вокруг себя, не видя «башен» — я всю жизнь просмотрел на себя самого. Вышла дьявольски субъективная биография, с интересом только к своему «носу». Это ничтожно. Да. Но в «носе» тоже открываются миры. «Я знаю только нос, но в моем носу целая география».

9. III. 1916

Противная. Противная моя жизнь. Добровольский (секретарь редакции) недаром называл меня «дьячком». И еще называл «обсосом» (косточку ягоды обсосали и выплюнули). Очень похоже.

Что-то дьячковское есть во мне. Но поповское — о, нет! Я мотаюсь «около службы Божией». Подаю кадило и ковыряю в носу. Вот моя профессия. Шляюсь к вечеру по задворкам. «Куда ноги занесут». С безразличием. Потом — усну.

Я в сущности вечно в мечте. Я прожил такую дикую жизнь, что мне было «все равно как жить». Мне бы «свернуться калачиком, притвориться спящим и помечтать».

Ко всему прочему, безусловно ко всему прочему, я был равнодушен.

И вот тут разворачивается мой «нос», «Нос — Мир». Царства, история. Тоска, величие. О, много величия: как я любил с гимназичества звезды. Я уходил в звезды. Странствовал между звездами. Часто я не верил, что есть земля. О людях — «совершенно невероятно» (что есть, живут). И женщина, и груди и живот. Я приближался, дышал ею. О, как дышал. И вот нет ее. Нет ее и есть она. Эта женщина уже мир. Я никогда не представлял девушку, а уже «женатую», т. е. замужнюю. Совокупляющуюся, где-то, с кем-то (не со мной).

И я особенно целовал ее живот.

Лица ее никогда не видел (не интересовало).

А груди, живот и бедра до колен.

Вот это — «Мир»: я так называл. Я чувствовал, что это мир, Вселенная, огромная, вне которого вообще ничего нет.

И она с кем-то совокупляется. С кем — я совершенно не интересовался, мужчины никакого никогда не представлял. Т. е. или — желающая сокупиться (чаще всего) или сейчас после сокупления, и не позже как на завтра.

От этого мир мне представлялся в высшей степени динамическим. Вечно «в желании», как эта таинственная женщина — «Caelestis femina» (Небесная женщина (лат.)). И покоя я не знал. Ни в себе, ни в мире.

Я был в сущности вечно волнующийся человек, и ленив был ради того, чтобы мне ничто не мешало.

Чему «не мешало»?

Моим особым волнениям и закону этих волнений.

Текут миры, звезды, царства! О, пусть не мешают реальные царства моему этому особенному царству (не любовь политики). Это — прекрасное царство, благое царство, где все благословенно и тихо, и умиротворено.

Вот моя «суббота». Но она была у меня, ей-ей, семь дней.

9. III.1916

И я любил эту женщину и, следовательно, любил весь мир. Я весь мир любил, всегда. И горе его, и радость его, и жизнь его. Я ничего не отрицал в мире; Я — наименее отрицающий из всех рожденных человек.

Только распрю, злобу и боль я отрицал.

Женщина эта не видела меня, не знала, что я есмь. И касаться ее я не смел (конечно). Я только близко подносил лицо к ее животу, и вот от живота ее дышала теплота мне в лицо. Вот и все. В сущности все мое отношение к Caelesta femina. Только оно было нежно пахучее. Но это уже и окончательно все: теплый аромат живого тела — вот моя стихия, мой «нос» и, в сущности, вся моя философия.

И звезды пахнут. Господи, и звезды пахнут.

И сады.

Но оттого все пахнет, что пахнет эта прекрасная женщина. И сущности, пахнет ее запахом.

Тогда мне весь мир усвоился как «человеческий пот». Нет, лучше (или хуже?) — как пот или вчерашнего или завтрашнего ее сокупления. В сущности, ведь дело-то было в нем. Мне оттого именно живот и бедра и груди ее нравились, что все это уже начало сокупления. Но его я не видел (страшно, запрещено). Однако только в отношении его все и нравилось и существовало.

И вот «невидимое сокупление», ради которого существует все «видимое». Странно. Но — и истинно. Вся природа, конечно, и есть «сокупление вещей», «совокупность вещей». Так что «возлюбив пот» сокупления ее ipso (тем самым (лат.)) я возлюбил весь мир.

И полюбил его не отвлеченно, но страстно.

Господи, Язычник ли я?

Господи, христианин ли я?

Но я не хочу вражды, — о, не хочу, — ни к христианству, ни к язычеству.

10. III.1916

При этом противоречия не нужно примирять: а оставлять именно противоречиями, во всем их пламени и кусательности. Если Гегель заметил, что история все сглаживает, что уже не «язычество» и «христианство», а Renaissance, и не «революция» и «абсолютизм», а «конституционный строй», то он не увидел того, что это, собственно, усталая история, усталость в истории, а не «высший примиряющий принцип», отнюдь — не «истина». Какая же истина в беззубом льве, который, правда, не кусается, но и не доит. Нет: истина, конечно, в льве и корове, ягненке и волке, и — до конца от самого начала: в «альфе» вещей — Бог и Сатана. Но в омеге вещей — Христос и Антихрист.

И признаем Одного, чтобы не пойти за другим. Но не будем Сатану и Антихриста прикрывать любвеобильными ладошками.

Противоречия, пламень и горение. И не надо гасить. Погасишь — мир погаснет. Поэтому, мудрый: никогда не своди к единству и «умозаключению» своих сочинений, оставляй их в хаосе, в брожении, в безобразии. Пусть. Все — пусть. Пусть «да» лезет на «нет» и «нет» вывертывается из-под него и борет «подножку». Пусть борются, страдают и кипят. Как ведь и бедная душа твоя, мудрый человек, кипела и страдала. Душа твоя не меньше мира. И если ты терпел, пусть и мир потерпит.

Нечего ему морду мазать сметаной (вотяки).

11. III.1916

Некрасив да нежен, — так «два угодя в нем».

От некрасивости все подходят ко мне без страха: и вдруг находят нежность — чего так страшно недостает в мире сем жутком и склочном.

Я всех люблю. Действительно всех люблю. Без притворства. С Николаи, долгое время с Афанасьевым и еще не менее 10-ти сотрудников в нашей газете я был на «ты», не зная даже их по имени и отчеству. И действительно, их уважал и любил: «А как зовут — мне все равно». Хорошая морда.

Этих «хороших морд» на свете я всегда любил. Что-то милое во взгляде. Милое лицо. Смешное лицо. Голос. Такого всегда полюбишь.

Стукачева мне написала: «голос Ваш (из Москвы спрашивала) нежный, приятный; обаятельный». Мы не видались еще, а лишь года 2 переписывались. Отвратительно, что я не умею читать лекций. Я бы «взял свое». Образовал бы «свою партию».

Я знаю этот интимный свой голос, которому невольно покоряются; точнее — быстро ко мне привязываются и совершенно доверяют.

Что общего между Шаратовым и Мережковским: а оба любили. Между Столпнером и Страховым: любили же.

И я немножко их «проводил». Мережковского я не любил, ничего не понимая в его идеях, и не интересуюсь лицом. Столпнера — как не русского.

Они мне все говорили. Я им ничего не говорил. Не интересовался говорить.

Но и не говорил (никогда): «Люблю». Просто, чай пил с ними.

И я со всем светом пил чай. Оставаясь в стороне от света.

В себе я: угрюмый, печальный. Не знающий, что делать. «Близко к отчаянному положение». На людях, при лампе — «чай пью».

Обман ли это? Не очень. Решительно, я не лгал им и при них. Никогда. Всегда «полная реальность». А не говорил всего.

Таким образом, в моей «полной реальности» ничего не было не так, ничего не лежало фальшиво. Но ведь во всех вещах есть освещенные части и неосвещенные «освещенное было истинно так», а об неосвещенной я не рассказывал.

«По ту сторону занавески» перешла только мамочка. О, она и сама не знала, что «перешла»; и никто не знал, дети, никто. Это моя таинственная боль, слившаяся с ее болью воедино. И притом, она была потаенная.

Прочие люди проходили мимо меня. Эта пошла на меня. И мы соединились, слились. Но она и сама не знает этого.

За всю жизнь я, в сущности, ее одну любил. Как? — не могу объяснить. «Я ничего не понимаю». Только боль, боль, боль...

Болезни детей не только не производят такого же впечатления, но и ничего подобного. Поэзия других людей не только не производит такого же впечатления, но и ничего приблизительного. «Что? Как? Почему?» — не понимаю.

11. III.1916

Метафизика живет не потому, что людям «хочется», а потому что самая душа метафизична.

Метафизика — жажда.

И поистине она не иссохнет.

Это — голод души. Если бы человек все «до кончика» узнал, он подошел бы к стене (ведения) и сказал: «Там что-то есть» (за стеной).

Если бы перед ним все осветили, он сел бы и сказал: «Я буду ждать».

Человек беспределен. Самая суть его — беспредельность. И выражением этого и служит метафизика.

«Все ясно». Тогда он скажет: «Ну, так я хочу неясного».

Напротив, все темно. Тогда он орет: «Я жажду света».

У человека есть жажда «другого». Бессознательно. И из нее родилась метафизика.

«Хочу заглянуть за край».

«Хочу дойти до конца».

«Умру. Но я хочу знать, что будет после смерти».

«Нельзя знать? Тогда я постараюсь увидеть во сне, сочинить, отгадать, сказать об этом стихотворение».

Да. Вот стихи еще. Они тоже метафизичны. Стихи и дар сложить их — оттуда же, откуда метафизика.

Человек говорит. Казалось бы, довольно. «Скажи все, что нужно».

Вдруг он запел. Это — метафизика, метафизичность.

20. III.1916

Что вы ищете все вчерашнего дня. Вчерашний день прошел, и вы его не найдете никогда.

«Он умер! Он умер!» — восклицали в Египте и в Финикии. «Возлюбленный — умер!!»

И плакали. И тоже посыпали пеплом голову и раздирали одежды на себе.

«Да, — я скажу, — он умер, ваш Возлюбленный».

Будет ли он называться «вчерашний день» или — Озирис, или Христос.

И — католичество. И — Москва.

Ах, и я жалею Возлюбленного. О, и для меня он — Возлюбленный. Не менее, чем для вас.

Но я знаю, что Он воистину умер.

И обратим взоры в другую сторону. И будем ждать «Завтра»

20. III.1916

Есть люди, которые всю жизнь учатся, «лекции» и все, — и у них самое элементарное отношение к книге. Элементарное отношение к самомалейшему рассуждению, к стихотворению, к книге — которую и начали читать.

А 12 лет школы за спиной. И есть «ученье работы», и уже почти начинают сами читать лекции.

Какое-то врожденное непредрасположение к книге, неприготовленность к книге.

Отсюда я заключаю, что «книга родилась в мир» совсем особо, что это — «новое чего-то рождение в мире» и далеко не все «способны к книге». Что есть люди, «врожденно к ней неспособные», — и такие сколько бы ни учились, ни читали, ни старались, к ним «книга» так же не идет, как к корове «горб верблюда».

Я присутствовал раз при разговоре о стихотворениях одной не кончившей курс гимназии, и еще одной лет 20-ти, с молодым ученым, который не только «любит стихи», но и сам пишет стихи, при этом недурные, формально недурные, — «с рифмами» и «остроумные».

И то, что недоучившейся гимназистке было с полуслова понятно, — именно понятны «тени» и «полуоттенки» слов, выражений, синонимов, омонимов, «украшений» — ученому осталось целый вечер непонятным. И он высокомерно спорил. Гимназистка же «взяла глаза в руки от удивления», — почти не веря и видя, что он ничего не понимает.

В спорах, в критике, в журналах — это сплошь и рядом. Редакторам журналов и издателям книг на ум не может прийти, что «ученый молодой человек» или «начинающий критик», приносящий им рукопись или «к изданию — книгу», на самом деле не имел никакого отношения к книге, родился до Элазевиров, до Альдов и Гуттенберга, и есть собственно современник Франциска Ассизского, — хотя занимается «естествознанием» и «по убеждениям — позитивист». И вот он написал свою новую статью «по грамматике Грота» и с методами Бэкона и Милля: не догадываясь, что он родился вообще до книгопечатания.

То, что я говорю — очень важно, очень практично. Не было бы и не возникло бы половины споров, если бы люди были все одинаково «после книгопечатания». Но тайна великая «литературы и науки» заключается в том, что % 75–80 «пишущей и ученой братии» родились до Гуттенберга и в «породу книжности», в «геологическую породу книжности» — никак не вошли и самого ее «обоняния» не имеют; что они суть еще троглодиты, питающиеся «мясом и костями убитых ими животных», — хотя уже писатели, критики, иногда — философы (тогда — всегда позитивисты), читают лекции и составляют книги.

Я ненавижу книгу. Но я книжен. И передаю это мое таинственное наблюдение.

21. III.1916

«Было, было, было».

— Ну, что же. Было и прошло.

«Плачь, бранный человек»

— Поплакать и мне хочется. Но утешилось: «будет».

«Но ведь будет уже не то и не такое?»

— Да. Новенькое всегда жмет и шершаво около шеи. Но обносится.

«Господи! — неужели и ты за новое?»

— По правде-то сказать, я «новое» ненавижу. Но — *fatum*.

21. III.1916

Музыка тишины?

Лучшее на свете.

Слушайте, слушайте лес!

Слушайте, слушайте поле...

Слушайте землю.

Слушайте Небо.

Больше всего: слушайте свою душу.

(сизу в банке у Нелькена)

21. III.1916

Если бы не писал, то сошел с ума.

Какое же сомнение?

И писательство — для меня по крайней мере — есть разрешение безумия в вереницы слов.

Слова, слова, слова. Как устал. Где же конец мой.

21. III.1916

Идеалы социалистического строительства разбиваются не о критику подпольного человека («Записки из подполья» Дост.), а о следующее:

Все органическое — асимметрично.

Между тем все постройки непременно будут симметричны.

«Планировать нельзя иначе, чем по линейке». А из живого — ничего по линейке.

Как-то лет 20 назад я читал о поляризации света: и прочел, что кристаллы сахара (?), взятые из сахарного тростника — «отклоняют поляризационный свет вправо (положим), тогда как кристаллы, добытые фабричным путем — отклоняют влево».

Забыл. Давно очень. Но это что-то элементарно и учебно, так что можно справиться. Помню хорошо только, что дело идет о поляризации света, и надо искать в этом отделе.

Я б. поражен., «Лучи света» точно чувствуют органичность и отклоняют вправо или влево, смотря по тому, лежит ли перед ними одна и та же масса — взятая из растения или приготовленная на фабрике.

И как-то, — помню в изложении, — это сливалось с асимметричностью. Что-то вроде: «природа любит асимметричное».

Каково же было мое изумление. когда лет через 10 после этого чтения, начав знакомиться с Египтом и читая Бругша,[45 - Бругш. Египет. История Фараонов. Пер. Г.К.Власкова. СПб., 1880.] я наткнулся у него на замечание: «египтяне вообще избегали в постройках симметричного», их «художественный вкус избирал — асимметричное».

Обратим внимание, что в фигуре человека ничто из «левого» и «правого», «верхнего» и «нижнего», «переднего» и «заднего» — не симметрично, не бывает — тождеством.

И вот: социалист — строит. Естественно — симметрично, в «гармонии». Но мировые силы, космогонические силы всегда и непременно это перекосят, растянут и испортят.

21. III.1916

— Если перед 12 дюйм. пушкой поставить Суворова и выстрелить...

— Какое же сомнение: Суворов не упадет.

(к «истории вооруженных сил в России»)

Все победы Суворова не принесли столько пользы России, сколько ей принесли вреда ссылки «на пример Суворова».

Мы перестали вооружаться, учиться, — но самое главное: вооружаться — все твердя и тараторя, что «пуля дура, штык молодец» и веря в «быстроту, глазомер и натиск».

В пору огнестрельного оружия мы («штык — молодец») в сущности вернулись к эпохе холодного оружия: колоть и рубить.

Мы потеряли военное искусство.

И вот: едва могли победить Турцию, побеждены Японией и очутились без снарядов перед Германией.

Что около этого в сущности «падения Державы» такие мелочи, как земская реформа, судебная реформа и хвастливая Госуд. Дума.

Я думаю — цари это знают. И думают: «Не то! не то!» — когда галочье стадо лезет, кричит, взывает и умоляет: «Еще реформу — хотя ма — лю — сень — кую...»

Цари наши видят дальше и лучше, чем общество. Но бессильны поправить дело, слишком запущенное

21. III.1916

Кто же придет на мои похороны?

Одни проститутки (м.б., даже «свои» не придут).

Но ведь они даже не знают, что «есть Розанов»?

Да. Но я о них заботился.

Ну и пусть. Я был недобродетельный, и пусть добродетельные обойдут мои похороны.

«Розанов не заслужил нашего участия». Ну и пусть «не заслужил».

22. III.1916

Зерно выпадает...

Самое зерно выпадает и уже выпало из литературы.

Правда, искренность, «нужно».

Нужно иметь немножко уха, чтобы слышать все это в глухих их строках, каких-то мятых, без звука, без музыки. Вот как мятая солома лежит на поле, пустая.

Пустая, пустая, пустая. Как ужасно.

О, как ужасно это опустение литературы. Бедные Карамзин и Дмитриев, и Жуковский: с такой надеждой начинавшие.

Теперь жива только библиография. «О прошлом» Верещагин («Библиофил») — вот он жив и исполнен еще мечты.

«В каком переплете издавали в XVIII в. Кожа. Maroquin (Сафьян (фр.))». А, это — дело.

И вот я люблю, когда копаются эти книжные червячки. В них я нахожу еще какую-то микроскопическую жизнь.

«Как был издан И.И. Дмитриев». Его «И мои безделки». Это — я люблю.

Неважно, что он написал в своих «безделках». Но как они были изданы.

Фу, смерть.

«Удовольствуйся этим».

Я умираю.

«Друг мой, не ты умираешь, а мир умирает».

(после кофе, утром)

25. III.1916

Нет команды

(суть России)

Команда какая-то рыхлая, дряхлая.

Во времена Николая она была неумная, но твердая. Однако «неумная» — отразилось слабостью. Кто не умен, в конце концов делается слаб.

С 1855-56 — кризис. Анархия и Гоголь. Вместо осторожности — безумие. В холодной и голодной России «мы зато будем строить фаланстеры». «Община и ура» — «утрем нос миру».

Турецкая война 77-го года впервые показала уже воочию для Европы слабость России. Дотоле разбивавшая Турцию, как «драла за уши мальчишку», Россия едва может справиться с Турцией. Турки при трех Плевнах наносят русским поражения, какие во время всей войны русские не могли ни разу и нигде нанести туркам. По существу дела Россия оказалась, конечно, громаднее Турции, но турки — более «мастерами битв», чем русские. Турецкая война была страшным обнаружением государственного ничтожества России.

Именно, «ничтожества» — меньше термина нельзя взять.

Государи начали бояться всякого столкновения с Европой, они чувствовали, что при всяком крупном столкновении Россия проиграет.

Боялись даже Австрии. Германии трепетали.

Японская война «облупила яичко» Оно оказалось протухлым. «Но зато мы будем помогать европейскому социализму».

28. III.1916

Вспотел — и афоризм

Я вовсе не всякую мысль, которая мелькнула, записываю. Вышла бы каша, «плеть» и в целом бестолковица. Таково и есть большинство собраний афоризмов, «подобранных авторами», с которыми «Уед.» и «Оп.л.» не имеют ничего общего по происхождению. Уже потому, что и в «Уед.» и в «Оп.л.» есть «мелочи, недостойные печати» и которых ни один автор не занес бы в книгу. Спрятал, бросил.

Нет. Особым почти кожным ощущением я чувствую, что «вышел пот из меня», и я устал, — сияю и устал, — что «родилось», «родил», что «вышло семя из меня» и я буду спать после этого до нового накопления семени.

Это только одно, одно-единственное и записано в «Уед.» и «Оп.л.» Но зато из этого уже ничего не выпущено. ни хорошее, ни преступное, ни глупое. Ни важное, ни мелочное.

Так. обр., тут нет ничего «на тему», а есть сумма выпотов души. «Жизнь души как она была». «Пока не умрет» (надеюсь).

Пот мой — семя мое. А семя — глагол к будущему и в вечность. И по существу «пота» ничто не исчезнет из этих особенных книг.

Прежде я писал «на тему», из нужды и «так себе». В написанном не было абсолютной необходимости. Именно необходимости не было, и это самое главное. Напротив, раз «потелось» — это не от меня зависело, и «Уед.» и «Оп.л.» в тексте своем абсолютно от меня независимы можно сказать и никогда не думал своего «Уед.» и «своих Оп.л.», а это поймалось независимо от меня, как бы «боком прошло возле меня», а я только взглянул, заметил и записал.

Что же такое эти «выпоты» мои, в которых я сам так неволен? Так «сходит семя» и «выплевывается слюна» Ну, Бог со слюной это вода. Но семя — жизнь. И я передал часть жизни моей... не читателю даже, а «в воздух», «в пространство». Но с помощью техники книгопечатания эта «часть моей души» вошла в читателя.

Многие поморщились, оттолкнули, не услышали. Вообще для многих «не надо», Такие просто и не знают, что я написал, как «не знающие греческого языка» естественно не знают, что «написал Гомер» и даже «был ли Гомер».

Но некоторые поняли, услышали. И их души стали «маткою» для «семени моего».

Я родил, и в них родится.

И «хочет» или «не хочет» — а принял «новую жизнь от Розанова». Какова же эта жизнь? Что она?

Нежность.

Есть еще другое. Дурное. Но оно все видно, я его не скрыл. Это «дурное» я сам в себе «отрицаю», и отрицаемое мною — его, очевидно, не принял и читатель.

«Это грех Розанова. Зачем я возьму его себе».

Основательно.

А нежность вся хороша. Ее одну и возьмет читатель. Я унежил душу его. А он будет нежить мир.

Так, читатель — будем нежить мир. Основной недостаток мира — грубость и неделикатность. Все спорят. Все ссорятся. Это не хорошо. Не нужно. Мы не будем вовсе ни о чем спорить. Мы оставим мысли другим. Мы будем «поводить по волосам (всегда „по шерстке“) мира» гладить ему щеки...

И заглядывая в глаза его — говорить: «Ну, ничего».

(в казначействе, за пенсией к Пасхе, все мешают, толкают)

Разврат мой, что «я люблю всех» и через это обидел и измучил мамочку — может быть, имеет ту провиденциальную сторону в себе, — ту необходимость и универсальность, что без него я не пришел бы к идее вечной и всеобщей неги. Ибо надо было «насосаться» молока всех матерей. Нужно было сладострастие к миру, чтобы любить вымя всех коров и мысленно целовать телят от всех коров. Как «уродиться в отца всех», не родив действительно «всех» и, след., не совокупившись «со всеми коровами»... по крайней мере мысленно, духовно. И вот так вышло: Господь меня устроил «во всех коров». Я полюбил их титьки. Я полюбил их ложесна. Я полюбил их влажность и самый запах пота. Ну, «совокупиться»-то со всеми не мог, но ведь это не далеко от совокупления. «Что-то сделалось в мире», и я был близок к «всеобщему совокуплению». В душе моей произошел «свальный грех» и через него и единственно через него я «уродился» с миром: и вот читатель чувствует, что я ему — тоже «родной».

И ты, читатель, — мне родной.

Так и будем родниться. Спорить не будем — а будем родниться.

3. IV.1916

Россия баба.

И нельзя ее полюбить, не пощупав за груди.

Тогда мы становимся «патриотами». И уже все и непременно.

А это «за груди» — быт, мелочи, вонь, шум, сор. Нужно принохаться. И тогда полюбишь.

4. IV.1916

Иногда кажется, что из голоса твоего ничего не выходит, и никто тебе не внимает, и никто на усилия твои не обращает внимания.

Но утешься, мой друг.

Я замечаю другое «успели ли Петр Великий?» Ведь кажется из современников его, да и то немного спустя, — его мысль и энергию и порыв воспринял один Ломоносов. Кажется, что он «преобразовал только кафтаны» и глубже дело не пошло. Какая темь кругом, и грубость, и элементарность.

Но прошел век: наступила эпоха Грановского и Белинского. Наступил век Кавелина, Соловьева (С.М.), Забелина, Беляева («Крестьяне на Руси»). Пришел Максимов и принес «Куль хлеба». Стали ходить по Руси, изучать Русь. И вот когда Петр мог сказать: «Довольно. Я счастлив».

7. IV.1916

...потенциал бесконечности...

(о себе) (бреду по улице)

7. IV.1916

...дремлешь, дремлешь...

Усталость в ногах...

Совсем спишь.

Проснулся.

И как стрела в ухо: «Егда приидеши в Царствии Твоем».

И прослезисься.

Так не все ли мы живем мигами? Сто лет лжи и минута правды. И ею спасаемся.

(как стою я в церкви)

7. IV.1916

Я весь вылился в литературу.

И «кроме» ничего не осталось.

Ни отец, ни муж, ни гражданин.

Да хоть человек ли?

Так что-то такое, мыслящая коза.

«Случайное» Аристотелево... что — «набежало».

Это — я, лицо (скорее безликое).

А литература — это необходимость.

13. IV.1916

И декабристы «ниспровергали» Россию.

И Грибоедов.

И Гоголь.

А «господин полицейский» все стоит на углу двух улиц.

Да почему?

Да потому что он необходим.

Он всем — нужен.

Те были аристократы. И полицейский им не нужен. Но есть беднота. Убогие. Жалкие. И без защиты полицейского им как обойтись?

(происхождение демократического строя)

Полицейский — самая маленькая величина. Чего: на него даже пролетарий плюет. И в строе, где все — маленькие, он вырос в самую огромную величину.

(тоже)

Каждый из нас есть «полицейский самого себя» в собственной душе. Он вечно хватается себя за полу, за ворот и кричит: «Держи вора» (тайнство покаяния). Как же вы хотите, чтобы в стране не было полиции?

(происхождение христианско-полицейского государства)

14. IV.1916

Каждый час имеет свою ось, около которой он вращается.

И всякое «я» вращается по оси своего «я».

Это мы называем «эгоизмами» и плачем. Несимпатично. Некрасиво. Но что же делать? Иначе бы мир рассыпался.

Мир уплотняется. Камешками, а не песком. Звездочки, а не «туман материи». Мог бы ведь и «туман».

Так Бог сказал всему: «смотри в себя».

И вот мир эгоистичен.

Но я этого не люблю. Ох, не люблю. По мне бы лучше туман. И я бы все облизывал. Розанов не эгоистичен. Он обнюхивает и грязь у себя под ногтем, и любит далекую звездочку.

Я люблю чужие эгоизмы (своеобразия всех вещей) — своего эгоизма я не люблю.

Да его и нет во мне. Я люблю валяться на дороге, по которой проходят все.

14. IV.1916

Проституция — ужас.

Совокупление — всегда светло. Вокруг него образуется семья, растут дети. Песни. Быт. И больше всего этого — религия.

«Мать ведет в церковь детей своих».

Здесь — ничего. Тело Солнца есть. А свет солнца погас.

...плачьте народы, люди...

(идем с мамочкой в гости к Тиграновым. Мытнинская улица. И вокруг, по-видимому, проститутки)

16. IV.1916

...да для ослиного общества и нужна только ослиная литература. Вот побежали за фигуристами, п.ч. ноги их только и умеют бегать туда, где слышится и пальба, и пахнет овсом. «Чего ты дивишься, Розанов?»

«Иги, иги, иги.

Ого-ого-ого...

Тпру, тпру, тпру»:

— это самое существо теперь литературы, п.ч. давно самое существо общества есть поле с овсом и лошади.

«Плодитесь. Размножайтесь. И наполните землю».

Чем началось — тем кончилось.

18. IV.1916

Все вещи «вертятся около своей оси». Это не космография, а ноумен мира.

Этот день вертится около своей оси. Год вертится около «годовой оси». Юность — около своих 7 лет (14–21). Прошло. И эта ось выкидывается из человека, «как отработавшая», и вал-человек надевается на «ось старости» и опять начинает вращаться около этой совсем другой оси.

Теперь он удивляется, что было в юности и что он делал в юности. «Все непонятно или отвратительно», п.ч. ось другая.

И здесь есть также циклы и эпициклы. Планета оттягивает планету. Брак. Дружба. Роковая встреча.

Даже «комета сталкивается с кометой» и сливается в одну. Новая «комета из двух прежних с одним ядром». Таков всякий брак.

И центробежная сила во всем, и центростремительная. Монархия — центростремительна. Общественность — центробежна.

Декабристы — центробежны. Николай — центростремителен. «Которое кого переборет».

Вражда. Ненависти. Споры. Ссоры.

19. IV.1916

Счастье Германии было выковано в несчастье ее (Наполеон) («дробя стекло, кует булат»), а несчастье России (17 губерний занято немцами) было выковано в беспримерном и незаслуженном счастье.

«Крах» и давно поджидает Россию. И патриотизм Струве не спасет ее.

Не Россия побеждала при Минихе, а именно и только побеждал Миних: грубый, здравомысленный, жесткий немец. И не «русские» перешли через Альпы; а их перешел — перелетел ангел Суворова. Он — гений и случай.

Россия же всегда была темна, несчастна, ничему решительно не научена и внутренне всячески слаба. Она два — века шла и преуспевала «на фу-фу». Как Лазарь. И только то и было хорошо, что поэты «пели». А «пели» они, действительно, хорошо.

19.17.1916

Не нужно «примирения». О, не нужно.

Никогда.

Пусть все кипит в противоречиях. Безумно люблю кипение.

Мировой котел. Славный. «Берегись, прохожий».

Берегись. Ошларит. «Погубишь душу свою». Но где гибель — и рождение.

Из котла вырастают цветы. Детишки. Идеи.

И опять попадают в котел, чтобы «жратвы было больше».

Жрет. Какое славное жрание.

И кипит.

И родит.

Это — лоно мира. Куда же тут Гегель со своим «синтезом». Привел в Берлинскую полицию.

Розанов говорит ему:

НЕ-ХА-ЧУ.

23. IV.1916

Добро как вода — просто и пресно.

И как вода — всеобще и необходимо

Им «не интересуется» никто. Это правда. Да оно об этом и не просит. Но есть другое, важное: кричать, когда его недостает.

Добра в действительности гораздо больше, и зла совсем немного. Да без этого и нельзя было бы жить. И хотя в газетах каждый день печатается — или в два дня об одном случае — ужасного преступления в одном Петербурге: но на самом деле много ли это? На два миллиона жителей один ярко себя проявивший преступник. «Лежим на розах». Ибо на самом-то деле не только не каждый день, но не более одного раза в неделю.

Это так «мало», что почти «нет совсем».

«Зло» кажется «повсюду и везде», именно оттого, что о нем кричат, как о какой-то катастрофе. Да оно и есть катастрофа. Вы живете в доме с 1000 жителей (в Петрограде сплошь и рядом такие дома). Между тем вспомните за всю жизнь: много ли было случаев, что- бы «в нашем доме случилось что-нибудь особенное»? «Ничего особенного не случается». Я не помню, чтобы когда-нибудь случилось (за 60 лет), и только раз в Казачьем переулке дворники избili и тяжело ранили дворника (ножом в живот), которому за старательность жильцы дали больше к Пасхе «чаевых». Но это был ужас (в д. № 4), прислуга, жильцы — все кричали и волновались. Швейцары волновались. И еще помню — когда был гимназист — проходил мимо дома, «в котором повесился человек». Я дрожал, испытывал мистический страх. Но это — два случая. Затем я не помню даже кражи, кроме 2–3 у себя, из них только одна рублей на 80 (белье с чердака).

А о добре никто не говорит. «Так серо». И хорошо, что не говорят. Это — «скучно» говорить о добре, и от этого оно несмотря на свою решительно повсюдность, не «перетирает зубы», не надоедает, не черствеет.

И всегда светло, не утомительно. Как эти «утомляющие» преступления, которых на самом деле так немного. Тут (в малом говоре о добре) скрыта самозащита человечества.

Это — «корень жизни», на который «не надо глядеть».

(приехав в редакцию)

25. IV.1916

...да я и не отрицаю, что эти патриоты или «потреоты» все сплошь св...., взяточники и проч. Среди которой, впрочем, поднимались три фигуры: Гиляров-Платонов, Аксаков и Катков.

Но вот мой вопрос: из вас, порядочных господ, почему же никто не пошел в патриоты?

Ведь тогда патриотизм-то бы скрасился. Было бы: сволочь, но среди нее Катков, Гиляров-Платонов, Аксаков и Михайловский. С его талантом, деятельным и живым, с его читаемостью.

Было бы немного лучше. Понадежнее было бы.

А если бы Короленко? О, беллетрист и идейный человек, которого «читают». Совсем было бы недурно.

Я думаю, если бы Короленко был патриотом, — осмелился бы и Чехов назвать себя «русским человеком». С Чеховым и Короленко наша партия решительно подняла бы голову. «Мы, русские, тоже не сопляки».

Но теперь решительно сопляки. Помилуйте: правительство и вокруг него сволочь. В отчаяние придешь.

Да и сволочь-то потому единственно с правительством, что получает от него денежку. Вот и «Земщина» и «Голос Руси», и «Моск. Ведомости» Кто же назовет их «литературой» или назовет вообще «чем-нибудь»?

Удивительное положение.

Святые иконы (которым из порядочных людей никто не поклоняется).

Святые в могилах (которых никто не чтит, т. е. из поряд.).

Правительство и Сволочь (в живых):

состав правой партии.

В левой партии:

Гоголь, Грибоедов, Фон-Визин, Чаадаев, Радищев. Декабристы. Шестидесятые годы. Все звезды. Положительно все звезды. Весь ум, талант Руси.

«Душа Руси» — левая.

Святые Руси — в могилах.

Образа... да, но они из золота и металла. Правда, есть чудотворные.

И — правительство.

Правительство с образами и с могилами.

Без народа. Без «действительности вокруг».

Господи. Господи. Неужели это не «зарезанная Русь»??!!!

6. V.1916

Со всеми нами под старость делается склероз мозга. И хоть печально признать «зависимость духа от материи», но что делать — приходится.

Можно и следует забыть Толстому все его «Дневники», кои он для чего-то и почему-то таил от мира, хотя там ничего особенного не содержится, кроме доказывания в сотый раз того, чего он не умел доказать 99 раз, — забыть богословие, «В чем моя вера» и «как я пришел к истине» и остановиться просто на его aeternum (вечное (лат.)) — «Войне и мире» и «Анне Карениной».

Тигранов, оказывается, читает и перечитывает оба произведения, и особенно «Войну и мир», и заметил такие его детали, каких никто не заметил. Он мне между прочим указал на то, что когда впервые в доме Ростовых появляется кн. Андрей, т. е. «жених» Наташи, с кем будет у нее «судьба», — и эта судьба **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ**, — так все в доме, отец, мать, Соня, Николай «точно разбежались», почувствовав трепет и страх... Страх о дорогом, страх о любимом (дочь). Я этого совершенно не заметил. Тигранов передал это удивительно, в интонациях голоса. «В дом вошла судьба». И еще никто не знает, черная она или светлая. Не знает и трепещет.

Также он отметил, что во всех местах, где Толстой говорит о князе Андрее, — он говорит о нем с каким-то внутренним трепетанием. «Заметьте, — сказал Тигранов, — что все важнейшие события с князем происходят в день и дни, когда решается судьба России. Он тяжело ранен при Аустерлице, он смертельно ранен при Бородине». Также он что-то говорил о въездах князя. «Он в Лысые Горы приезжает ночью». Кажется, еще Наташу он впервые видит ночью же.

Не помню. Тигранов говорил тихо и вдумчиво.

И когда он говорил это (ему всего 30 лет), мне как-то осозналось, до чего «в те годы», в «свое время» Толстой в самом деле превосходил всю Россию не «головой», а несколькими головами, многими головами. До чего он был как Калифорнская тысячелетняя лиственница между молоденького сосняка своего отечества.

Удивительно. Вполне удивительно. Вот величие. И что мы болтаем про его богословие.

8. V.1916

Все, что принадлежит минуте — принадлежит и вечности.

Смеет разве вечность зачеркнуть минуты? зачеркнуть свое питание?

Свои зерна?

Ни-ни-ни.

Вот отчего мое «вчера», хотя настало уже «сегодня», а это «сегодня» нисколько не похоже на «вчера», — продолжает быть и сегодня и останется завтра. Правда, я не «думаю» его: но я благоговею перед ним, и вообще оно священно.

12. X.1916

В России так же жалеют человека, как трамвай жалеет человека, через которого он переехал. В России нечего кричать. Никто не услышит.

(в трамвае)

28. V.1916

Вот что, русский человек: вращайся около своей оси.

Той, на которую ты насажен рождением. На которую насажен Провидением.

Где у тебя «Судьба».

Не рассеивайся. Сосредотачивайся. Думай о «своем» и «себе».

Даже если у тебя судьба к «Рассеянности» — ну, и не сдерживайся — «будь рассеян во всем». Тогда выйдет ясность. Будет ясен человек и ясна жизнь. А то — сумерки и путаница. Ничего не видно. У нас ведь как, рассеянный-то человек и играет роль сосредоточенного, угрюмый — весельчака, пустозвон обычно играет роль политика. Все краски смешаны, цвета пестры и ничего не разберешь.

Пусть будет разврат развратищем, легкомыслие — легкомыслием, пусть вещи вернутся каждая к своему стилю. А то вся жизнь стала притворна и обманна.

Россия — страна, где все соскочили со своей оси. И пытаются вскочить на чужую ось, иногда — на несколько чужих осей. И расквашивают нос и делают нашу бедную Россию безобразной и несчастной.

Следы и последствия 200 лет «подражательной цивилизации».

17. VI.1916

Неудачная страна.

Неудачна всякая страна, если она не умеет пользоваться у себя «удачными людьми». Видеть их, находить.

Сколько я видел на веку своем удивительных русских людей с душой нежной и отзывчивой, с глубоким умом и любивших Россию... как не знаю что. «Какая же Греция не воспользуется Патроклем». И в то время как русские министры «не находят людей» (и Победоносцев о себе это говорил) и гимназии и университеты переполнены учителями и воспитателями юношества, которые не ухмыльнувшись не могут выговорить слово «Россия», — эти люди удивительного ума и сердца умирали с голода на улице.

Да вот припоминаю Дормидонтова...

Тоже — Великанов...

Цветков.

Рцы.

Я думаю — тоже с Фл....

А Глинка-Волжский?

Я благодарю судьбу, что видел людей, не менее любивших Россию, нежели «Федор Глинка» 1812 г. (Майков рассказывал). Видел людей именно по любви к России — прямо удивительных. Патроклы.

Что же они все?

Да ничего. Топтали тротуары.

Цветкову даже не дали кончить в университете. А он студентом сделал ученое издание «Русских ночей» Одоевского, со всем шиком понимания бумаги и шрифтов. Издание вполне удивительное, например по отброшенности своих примечаний. Он мог бы их сделать гору и сделал по необходимости 2–3 от неизбежности. Это так скромно, так великолепно, что хочется поцеловать руку. А ему было 26 лет.

Его рассказы о животных и их таинственных инстинктах, о больной собаке, которая была «как больной ребенок», и чувствовала в нем друга и отца — все это удивительно. Его письмо ко мне о муравьином льве (хищное насекомое), если бы его поместить в «Аде». Его мысль побродить по Руси, постранствовать и записать все случаи, «где открывается величие и красота души», статья Далем добродетели, — не удивительная ли это мысль, вчуже источающая слезы.

И его речь задумчивая, «как бы он не видит вас», его гордость, но тайная, аристократизм всей его природы, какая-то музыка вкусов и «выбора» вещей и людей: все это какого из него делало «воспитателя студентов», «инспектора гимназии»...

Я писал Любавскому. Чины. Программы.

Юноша, студентом знавший греческую скульптуру, так что специалисты спрашивали его совета в своих трудах, не кончил, «потому что не умел сдать курса средних веков, напичканного политической экономией и классовой борьбой» профессора Виппера, колбасника и нигилиста.

А чистые сердцем Великанов и Дормидонтов? Дормидонтов сошел с ума, — просто от безысходности, от «некуда себя деть».

Рцы задыхался, «считая заготовленные шпалы» на жел. дорогах.

И эти с...д... кричат: «У нас <нет> людей».

— Только я. Тайный советник NN.

С этими-то «тайными советниками» Россия и проваливается. Нет, когда-нибудь я закричу: — Давайте нигилистов!! Безверов, хулиганов, каторжников. П.ч. эта меднолобая св.... гораздо хуже и, главное, гораздо опаснее каторжников.

Каторжники — это: «Се творю все новое». Что-нибудь выйдет.

Примечания

1 Статья Алексея Н.Веселовского «Альцест и Чацкий». Отрывок из этюда о «Мизантропе» опубликована в журнале «Вестник Европы», 1881, № 3 сс.91-112; перепечатана в его книге «Этюды и характеристики» (М., 1894; 4-е изд. М., 1912).

2 Первый сборник стихов Н.А.Некрасова «Мечты и звуки» (СПб., 1840) вызвал резкий отзыв В.Г.Белинского, который написал об этой книге: «Посредственность в стихах нестерпима».

3 Строки из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл.2). Цитируется неточно.

4 В письме И.С.Тургеневу 19 февраля (3 марта) 1847 г. В.Г.Белинский писал о Некрасове: «Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» Розанов мог читать это письмо в третьем томе «Писем» Белинского, вышедшем под ред. Е.А.Ляцкого (СПб., 1914, сс. 177–181).

5 Строки из стихотворения Н.А.Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

6 Речь идет и балладах В.А.Жуковского «Светлана» (1813) и «Ленора» (1831), представляющих собой переложение баллады немецкого поэта Г.А.Бюргера (1747–1794) «Ленора» (1773). Стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812) написано во время пребывания поэта в армии, когда Москва еще была занята Наполеоном.

7 Частично настоящая запись вошла в статью Розанова «По поводу новой книги о Некрасове» («Новое время», 1916, 8 января, № 14308), представляющей собой отклик на книгу В.Е.Евгеньева-Максимова «Н.А.Некрасов. Сборник статей и материалов» (М., 1914).

8 В 1870–1872 гг. Розанов жил в Симбирске и учился во 2-3-м классах симбирской гимназии.

9 О своем гимназическом товарище Кропотове Розанов писал во втором коробе «Опавших листьев» (Пг., 1915, с.117).

10 В 1872 г. старший брат Розанова Николай Васильевич, у которого жил будущий писатель, переехал из Симбирска в Нижний Новгород, и до окончания гимназии в 1878 г. В.В.Розанов учился в нижегородской гимназии, где его брат был учителем.

11 Имеется в виду 1 марта 1881 г., когда народовольцами был убит император Александр II.

12 В Цусимском морском сражении 14–15 (27–28) мая 1905 г. в Корейском проливе, около острова Цусима, во время русско-японской войны флот России потерпел поражение от японского флота. Цусима стала нарицательным обозначением грандиозного поражения.

13 Григорий Евлампиевич Благовестов (1824–1880) — журналист и публицист, издатель-редактор журналов «Русское слово», «Дело». В первом коробе «Опавших листьев» Розанов писал о нем «В жизни был невыразимый холуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали в „амурах“ и деньгах, когда в его журнале писались „залихватские“ семинарские статьи в духе: „все расшибем“, „Пушкин — г...о“. Но холуй ли, не холуй ли, а раз „сделал под козырек“ и стоит „во фронте“ перед оппозицией, — то ему все „прощено“, забыто...» (СПб., 1913, сс. 120–121).

14 Андрей Александрович Краевский (1810–1889) — журналист, издатель «Отечественных записок». Розанов писал о нем: «Цензор только тогда начинает „понимать“, когда его Краевский с Некрасовым кормят обедом. Тогда у него начинается пищеварение, и он догадывается, что „Щедрина надо пропустить“» (Розанов В.В. Уединенное. М., 1990, с.208).

15 Как неоднократно говорил Розанов, его интересуют не факты, а общие идеи. Поэтому его утверждение, что у Гоголя вещи ничем не пахнут, не следует понимать буквально. Запахи у Гоголя, конечно, присутствуют. В начале «Невского проспекта» читаем: «...с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами»; в повести «Шинель» Акакий Акакиевич, «взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов».

16 Фаддей Яковлевич Тигранов — музыковед, автор книги «Кольцо Нибелунгов. Критический очерк» (СПб., 1910). Розанов виделся с ним осенью 1910 г., а в «Уединенном» писал о нем: «Мне почувствовалось что-то очень сильное и самостоятельное в Тигранове (книжка о Вагнере). Но мы виделись только раз, и притом я был в тревоге и не мог внимательно ни смотреть на него, ни слушать его. Об этом скажу, что, „может быть, даровитее меня“» (Розанов В.В. Уединенное. М., 1990, с.71).

17 Выражение «благодарю, не ожидал» употребляется в значении: не ожидал ничего подобного. Оно принадлежит В.А.Соллогубу (1813–1882), который в 60-е годы читал экспромтом стихотворение, каждая строфа которого кончалась этими словами. Использовано как рефрен также в стихотворении П.А.Вяземского «Ильинские сплетни» (1869).

18 В первом коробе «Опавших листьев» Розанов рассказывает, как его дочь Таня во время прогулки читала стихотворение Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день», а его жена Варвара Дмитриевна, прослушав эту запись, сказала: «Как мне не нравится, что ты все это записываешь. Это должны знать ты и я. А чтобы рынок это знал — нехорошо» (с.157).

19 Маленькая дочь, лет 3-х.

20 Муж, учитель школы.

21 «Надей» (как молодую) я ее назвал в первом ответном письме, — так как у меня тоже есть дочь Надя 15 лет <примеч. В.В.Розанова>.

22 Под псевдонимом Гаррис 15 марта 1912 г. в газете «Утро России» Мария Александровна Каллаш (1885–1954) напечатала едкую рецензию на вышедшую в начале марта 1912 г. книгу Розанова «Уединенное». В 1929 г. М.А.Каллаш под псевдонимом М.Курдюмов выпустила в Париже книгу «О Розанове», полную интересных философских размышлений о наследии писателя. Передонов — учитель в романе Ф.Соллогуба «Мелкий бес» (1907).

23 «Голый Розанов» — название рецензии В.Ф.Боцяновского на второй короб «Опавших листьев», появившийся в «Биржевых ведомостях» (вечерний выпуск) 16 августа 1915 г.

24 Выход второго короба «Опавших листьев» в июле 1915 г. был встречен многими журналами и газетами весьма критично, что видно уже из названий рецензий: Ашешов Н.П. Позорная глубина («Речь», 1915, 16 августа); Айхенвальд И. Неопрятность («Утро России», 1915, 22 августа); Мокиевский П. Обнаженный нововременец («Русские записки», 1915, № 9); Василевский И.М. Гнилая душа («Журнал журналов», 1915, № 15. Подпись: Л.Фортунатов); Любошиц С.Б. «Бобок» («Биржевые ведомости», утренний выпуск, 1915, 16 августа).

25 Второй короб «Опавших листьев» вышел в петроградском издательстве «Лукоморье» с указанием типографии Товарищества А.С.Суворина, но без обозначения издательства.

26 Андрей Митрофанович Ренников (настоящая фамилия Селитренников, 1882–1957) — прозаик, драматург, фельетонист. С 1912 г. редактировал отдел «Внутренние известия» в петербургской газете «Новое время», где служил и Розанов. Регулярно печатал в газете фельетоны, рассказы, очерки. В 1920 г. эмигрировал.

27 Имеется в виду Марк Николаевич Бялковский, редактор еженедельного литературно-художественного и сатирического журнала «Лукоморье», выходившего в Петрограде в 1914–1917 гг.

28 В 1903 г. в Петербурге в двух томах вышла книга Розанова «Семейный вопрос в России. Дети и родители. Мужья и жены. Развод и понятие незаконнорожденности. Холостой быт и проституция. Женский труд. Закон и религия».

29 Речь идет о сыне издателя «Нового времени» Алексея Сергеевича Суворина издателя-редакторе журнала «Лукоморье» Михаиле Алексеевиче Суворине.

30 На горе Благодать, на восточном склоне Среднего Урала (вблизи г. Кушны), с 1735 г. ведется разработка железной руды, залегающей на небольшой глубине.

31 Николай Иванович Кареев (1850–1931) — историк, автор многих работ по истории французской революции XVIII в.; Фридрих Кристоф Шлоссер (1776–1861) — немецкий историк, книги которого («История XVIII столетия», «Всемирная история») переводил Н.Г.Чернышевский.

32 Один из псевдонимов народника Петра Лавровича Лаврова (1823–1900) — Миртов. Его «Исторические письма», пользовавшиеся популярностью у революционно настроенной молодежи, публиковались в 1868–1869 гг. Цензор и историк литературы Александр Васильевич Никитенко (1804–1877) писал о нем «У нас есть особенный тип прогрессиста, который как нельзя осязательнее воплотился в Петре Лавровиче Лаврове. Он страстно любит человечество, готов служить ему везде и во всем... В награду за свою бескорыстную любовь Петр Лаврович хочет одного: быть признанным великим человеком между своими современниками... Петр Лаврович удивительно подвижный человек. Едва прочтет он в заграничном журнале какую-нибудь ученую и политическую новость, тотчас, как Бобчинский, бежит разглашать ее везде, куда только позволен ему доступ» (Никитенко А.В. Дневник. Т.2. М., 1955, с 456).

33 Бельгийский драматург и поэт Морис Метерлинк (1862–1949) создал свой шедевр, драму «Синяя птица», в 1908 г. и передал право первой постановки К.С.Станиславскому (30 сентября 1908 г. пьеса была поставлена на сцене МХТ). О философских сочинениях Метерлинка Розанов записал во втором коробе «Опавших листьев»: «Начал „переживать“ Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8 строк в часовую задумчивость (читал в конке). И бросил от труда переживания, — великолепного, но слишком утомляющего» (с.213).

34 Т.Ардов — псевдоним Владимира Геннадиевича Тардова (1879 — после 1918), писателя и журналиста, о котором Розанов писал в статье «Возле „русской идеи“...», вошедшей в его книгу «Среди художников» (СПб., 1914). Серия статей Т.Ардова о настоящем и будущем России печаталась в газете «Утро России» в июне 1911 г.

35 Л.Н. Толстой в «Воспоминаниях» (1902–1906) рассказывает о том, как его старший брат Николенька объявил, что у него есть тайна, через которую, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми и будут любить друг друга. Тайна эта написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги на краю оврага в яснополянском парке (глава «Фанфаронова гора»).

36 Иван Федорович Наживин (1874–1940) — писатель, выходец из крестьянской среды, был близко знаком с Л.Н.Толстым, вел с ним переписку, испытал его идейное влияние. Беседы с Толстым опубликовал в своей книге «Из жизни Л.Н.Толстого» (М., 1911). В 1920 г. эмигрировал.

37 29 февраля 1916 г. отмечалось 40-летие с момента, как издателем газеты «Новое время» стал А.С.Суворин, остававшийся им до смерти в 1912 г.

38 Имеется в виду единственное письмо А.П.Чехова Розанову из Ялты от 30 марта 1899 г., в котором он давал свой московский адрес и писал: «У меня здесь бывает беллетрист М.Горький, и мы говорим о Вас часто... В последний раз мы говорили о Вашем фельетоне в „Новом времени“ насчет плотской любви и брака (по поводу статей Меньшикова). Эта статья превосходна...»

- 39 Розанов переписывался с философом Константином Николаевичем Леонтьевым (1831–1891), жившим в Оптиной Пустыни, в последний год его жизни. Письма Леонтьева к нему Розанов напечатал, в «Русском вестнике» (1903, № 4–6) со своими пространными комментариями. В последнем письме 18 октября 1891 г. уже из Сергиева Посада Леонтьев писал «Надо нам видеться». Письмо заканчивается словами: «Постарайтесь приехать... Умру, — тогда скажете: „Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил!“ Смотрите!.. Есть вещи, которые я только вам могу передать».
- 40 У Л.Н. Толстого в Ясной Поляне Розанов был вместе с женой Варварой Дмитриевной 6 марта 1903 г. Впервые Толстому о Розанове рассказывал Николай Николаевич Страхов (1828–1896), с которым Розанов переписывался с января 1888 г. и встретился впервые в Петербурге в январе 1889 г.
- 41 Федор Эдуардович Шперк (1872–1897) — философ, друг Розова, о котором он писал в «Уединенном»: «Он очень любил меня (мне кажется, больше остальных людей, — кроме ближних). Он был очень проницателен, знал „корни вещей“. И если это сказал, значит, это верно» (с.57). «Трех людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Флоренского. Первый умер мальчиком (26 л.), ни в чем не выразившись» (с.71). Рцы — псевдоним Ивана Федоровича Романова (1857/58 — 1913), писателя, публициста, друга В.Розанова.
- 42 Николай Иванович Афанасьев (р.1864) — секретарь газеты «Новое время».
- 43 Сергей Федорович Щарапов (1855–1911) — писатель, друг Розанова.
- 44 Борис Григорьевич Столпнер (1871–1937) — участник петербургского Религиозно-Философского общества, где с ним встречался Розанов; сотрудник «Еврейской энциклопедии».
- 45 Бругш. Египет. История Фараонов. Пер. Г.К.Власкова. СПб., 1880.
- 46 Сборник произведений поэта Ивана Ивановича Дмитриева «И мои безделки» издан в Университетской типографии в Москве в 1795 г. Назван по аналогии с «Моими безделками» Н.М.Карамзина, отпечатанными там же в 1794 г.
- 47 Историк Иван Дмитриевич Беляев (1810–1873) в своем главном сочинении «Крестьяне на Руси» (1859) дал первый в русской историографии систематический обзор истории русского крестьянства со времен Киевской Руси до XVIII в.
- 48 Имеется в виду роман «Куль хлеба и его похождения» (1873) писателя и этнографа Сергея Васильевича Максимова (1831–1901).
- 49 Строка из поэмы «Полтава» А.С.Пушкина: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» (песнь I).
- 50 В Большом Казачьем переулке (дом 4, кв.12) семья Розанова жила с января 1906 г. по июль 1909 г.
- 51 Религиозно-философское сочинение Л.Н.Толстого «В чем моя вера» (1884).
- 52 Сергей Алексеевич Цветков (1838–1964) — литератор, друг Розанова и его библиограф. Под его редакцией издательство «Путь» (Москва) выпустило «Русские ночи» В.Ф.Одоевского.
- 53 Речь идет о П.А.Флоренском.
- 54 Волжский — псевдоним Александра Сергеевича Глинки (1878–1940), литературного критика, публициста, историка литературы, одного из друзей Розанова.
- 55 Розанов был знаком с поэтом Аполлоном Николаевичем Майковым (1821–1897) и напечатал некролог на его смерть в газете «Свет» 11 марта 1897 г.
- 56 Матвей Кузьмич Любавский (1860–1936) — историк, учившийся вместе с Розановым на историко-филологическом факультете Московского университета. Розанов вспоминал о нем в «Мимолетном. 1915 год»: «Какая радость, что наш выпуск в Московском университете дал трех СЫНОВ России: Любавский (М.Куз.), Зайончковский, Вознесенский и я» (запись 20 апреля 1915 г.).
- 57 Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954) — историк, в 1897–1922 профессор Московского университета, автор книги «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе» (СПб., 1900; 3-е изд. 1913) и учебника «Новая история для старших классов гимназии», который Розанов видел у своих детей-гимназистов.